



Максим Козлов

НИКТО

18+

Максим Козлов

Никто

<https://litres.ru/74031169>

SelfPub; 2026

Аннотация

Год полной изоляции. Белые стены. Тишина. Десять добровольцев, у которых отняли всё — имена, прошлое, роли. Что останется, когда не останется ничего?

Успешный адвокат входит в бункер одним человеком, а выходит — никем. Буквально. Он забывает лицо жены, имя сына, своё отражение. Встречает двойника. Сливается с пустотой. И умирает с улыбкой за две недели до конца эксперимента.

«Никто» — роман о том, кто мы без масок. Страшный, как приговор. Честный, как исповедь. После него вопрос «Кто я?» перестаёт быть риторическим.

Содержание

Белая комната	4
Имена на стене	20
Голос	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Максим Козлов

Никто

Белая комната

Бункер был белый.

Стены белые. Пол белый. Потолок белый. Свет лился отовсюду и ниоткуда. Мягкий такой. Нельзя было понять, где источник. Просто белое свечение. Как в операционной. Только операции тут никакой не будет. Будет тишина.

Грэм стоял посреди комнаты и смотрел на свои руки. Руки были еще его. Пальцы длинные, адвокатские. Ноготь на большом сломан — за месяц до того, как подписал согласие, упал с велосипеда. Катался с сыном. Сыну двенадцать. Зовут Майкл. Или Майк. Он всегда путал, как правильно. Жена звала Майки, а он звал Майкл. Сын не возражал.

В бункере велосипеда не было. И сына не было.

Грэм выдохнул. Выдох получился громким, стены ответили коротким эхом и съели звук. Он прошел в угол. В углу стояла койка. Металлический каркас, матрас тонкий, белье серое. Не белое — и то хорошо. Рядом стул. Один. Деревянный. И стол. Тоже деревянный, привинчен к полу. На столе ничего.

Обошел комнату по периметру. Десять шагов в длину, во-

семь в ширину. Шестьдесят четыре квадратных фута. Как камера в старой тюрьме, только чище. И запаха нет. Никакого. Даже сыростью не пахнет. Воздух подают через вентиляцию — бесшумную, зараза. Только легкое гудение где-то за стеной, на грани слышимости. К нему привыкнешь, сказал координатор. Ко всему привыкнешь.

Грэм не верил.

Он тогда улыбнулся. Координатор не улыбнулся в ответ. Он был молодой парень в очках. Смотрел в планшет и говорил быстро. Вы будете полностью изолированы. Никаких средств связи. Никаких книг. Никаких записей. Никаких часов. Только еда, вода, воздух и вы. Цель — изучить сознание, очищенное от социальных ролей. Вы подписали согласие. Вы в любой момент можете сказать «стоп». Скажете — и мы вас выведем. Слово «стоп». Запомните.

Грэм запомнил. Он всегда все запоминал. Память была его инструментом. Даты дел, имена истцов, статьи кодексов, номера телефонов, дни рождения, лица присяжных. Все лежало в голове разложенное по полочкам. Он гордился этим. Грэм Холден, сорок пять лет, старший партнер «Клейн энд Холден». Двести сорок выигранных дел. Четыре поражения. Два он не считал — там были дураки клиенты.

Теперь дел нет. И клиентов нет. Только стул и койка. Он сел на стул. Стул был жесткий. Хорошо. Можно чувствовать хоть что-то телом. Это точка отсчета. Он решил, что составит план. Нельзя просто так сидеть год и ждать. Надо занять

ум. Он составит расписание. Мысленное. Утром — гимнастика. Потом будет вспоминать судебные дела и прокручивать их в голове, находя ошибки. Будет тренировать память. Будет вспоминать стихи, которые учил в колледже. «Божественную комедию» знал почти наизусть. Первую часть точно. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Смешно. Тут не сумрачный лес, тут белая пустыня. Но тоже вроде как середина жизни. Сорок пять. Может, чуть за середину. Кто знает, сколько он проживет. Отец умер в шестьдесят два. Сердце. Мать жива, семьдесят восемь. Живет во Флориде, в пансионате. Он платит за пансионат. Она не знает про эксперимент. Он сказал — командировка в Европу, на год, писать письма не смогу, не волнуйся. Она и не волновалась. У нее деменция начинается, она иногда забывает, что у нее есть сын. Ирония, да? Он едет забывать себя, а она уже забыла.

Грэм усмехнулся. Звук получился сухой, как бумага.

Он встал и снова прошелся. Надо как-то отмечать дни. Часов нет. Смены дня и ночи тоже нет. Свет горит постоянно. Но еду приносят раз в сутки. Он не знал, как именно, координатор сказал — через шлюз. В стене, у пола, была металлическая заслонка. Размером с почтовый ящик. Там будет появляться еда. По сигналу. Сигнала нет. Просто зашумит вентиляция чуть громче — значит, принесли. Он будет считать эти шумы. Первый шум — день первый. Или ночь. Не важно. Просто единица времени.

Он подошел к стене и провел пальцем. Стена была матовая, шершавая чуть-чуть. Как яичная скорлупа. Ничего нельзя оставить, никакого следа. Хорошая краска. Дорогая. Военные на эксперимент денег не пожалели. Или кто там его финансирует. Он не спрашивал. Ему заплатили много. Очень много. Когда выйдет — через год — он будет свободен. Продаст долю в фирме, купит яхту, увезет жену и Майкла в кругосветку. Или Майка. Черт. Майкл. Точно — Майкл. Он назвал его в честь отца. Отец был Майкл. Все звали Майк.

Он остановился. В голове что-то щелкнуло. Не больно. Просто сигнал. Как лампочка на приборной доске. Проверь память. Проверь имена.

Жена — Лора. Лора Энн Холден. Девичья фамилия — Стивенс. Поженились в девяносто восьмом. В мае. Дождь был. Она злилась, что платье намокло. Потом смеялась. Она хорошо смеялась, запрокидывая голову. У нее зубы неровные, но ему нравилось. Он выиграл первое большое дело через месяц после свадьбы. Купил ей кольцо. Бриллианты. Она носила редко, говорила — куда мне, я домохозяйка. Она была не домохозяйка, она преподавала в колледже, литературу. Оставила работу, когда родился Майкл. Сказала — временно. Временно растянулось на двенадцать лет. Или больше. Или меньше. Сколько Майклу? Двенадцать. Или тринадцать. Он родился в марте. Две тысячи какого? Десятого? Девятого? Грэм наморщил лоб. Две тысячи девятого, точно.

Девятый год. Март. Двадцать третье марта. Он помнил, как ждал в больнице. Как медсестра сказала — мальчик. Он заплакал тогда. Или не заплакал? Кажется, просто выдохнул. И пошел звонить матери. Мать тогда еще помнила всё.

Грэм сел на койку. Матрас прогнулся. Пружины не скрипнули. Хороший матрас. Плотный. Он лег и уставился в потолок. Белый. Как экран, на котором ничего не показывают. Можно представить, что это кинотеатр. И сейчас начнется фильм. Какой-нибудь вестерн. Или судебная драма. Он любил судебные драмы, хоть и ругал их за неточности. В настоящем суде никто не кричит «Протестую!» так театрально. В настоящем суде скука, бумаги, долгие паузы. Клиенты врут. Свидетели путаются. Судья хочет домой. Все хотят домой. Он тоже хотел домой. Но дом теперь здесь. На год. Год — это триста шестьдесят пять дней. Или триста шестьдесят шесть, если високосный. Какой сейчас год? Он не спросил. Две тысячи двадцать второй? Двадцать третий? Подписывал бумаги в сентябре. Двадцать третьего сентября. Двадцать третий год. Високосные — те, что делятся на четыре. Двадцать четыре делится. Двадцать четыре будет високосный. Значит, сейчас двадцать третий, невисокосный. Триста шестьдесят пять дней. Из них, наверное, пара уже прошла. Он не знал, сколько времени заняла подготовка, перелет, медосмотры. Его усыпили для транспортировки. Чтобы не знал, где бункер. Может, он под землей. Может, в пустыне. Может, в горах. Давление нормальное, значит не глубо-

ко под землей. Или они научились выравнивать. Сейчас все умеют.

Ладно. Допустим, день первый.

Он закрыл глаза. Гимнастика. Надо сделать гимнастику. Он встал, снял рубашку. Одежду дали — серая футболка, серые штаны. Белье серое. Носки серые. Все хлопковое. Мягкое. Без пуговиц. Без шнурков. Он спросил — почему без шнурков, координатор сказал — стандартный протокол. На случай, если вы решите и замолчал. Грэм не стал переспрашивать. Понятно. Он начал приседать. Раз. Два. Три. Тело слушалось. Он был в форме. Бегал по утрам. Плавал. Сквош по вторникам. Теннис по четвергам. Теннис с клиентами. Теннис с судьей Мартинесом. Мартинес был старый, толстый, но играл хитро. Грэм ему поддавался. Чуть-чуть. Чтобы не заметил. Или замечал? Кто их знает, судей.

Двадцать приседаний. Тридцать. Пятьдесят.

Остановился. Сердце билось ровно. Хорошо. Теперь отжимания. Пол был теплый. Не холодный. Странно. Откуда тепло? Система отопления под полом. Продумано всё.

Он отжался сорок раз. Руки дрожали, но приятно. Жизнь в мышцах. Мышцы не врут. Они либо работают, либо нет. В суде все врут, только мышцы не врут. Даже у клиента, когда он говорит правду, мышцы лица врут. Микромимика. Грэм проходил курсы. Умел читать по лицам. Хороший навык для адвоката.

Здесь лиц нет.

Он лег на пол и стал качать пресс. Потолок белый. Прес-с-с. Раз. Прес-с-с. Два. Он шипел как змея. Или как пар из котла. Сам придумал — выдыхать со звуком, чтобы ритм держать. Лора смеялась. Говорила — ты как старый паровоз. Утром в спальне, когда он качал пресс на ковре. Она лежала в кровати, смотрела одним глазом, потом переворачивалась и засыпала дальше. Он уходил на работу в семь. Она вставала в восемь. Майкл вставал в семь тридцать. Школа. Автобус в восемь ноль пять. Желтый автобус. Номер двадцать четыре. Или сорок два. Он не помнил. Отвозил его иногда сам, когда было время. Машина — «лексус». Черный. Гибрид. Кожанный салон. Пахло кожей. Сын включал музыку на телефоне. Какую-то дрянь, хип-хоп. Грэм терпел. Потом они договорились: утром — классика, вечером — его музыка. Сын согласился. Хороший парень. Упрямый, но хороший. Похож на мать. Глаза серые, как у Лоры. У Грэма карие. У отца были голубые. У матери зеленые. Карие от деда. Дед был адвокат. Умер в восемьдесят четыре. В своем кабинете. Упал лицом в бумаги. Хорошая смерть. Он бы тоже так хотел. Но не сейчас. Сейчас он хочет просто дожить до конца эксперимента и уйти.

Пресс кончился. Он встал. Пот стекал по спине. Душа нет. Гигиена — влажные салфетки в том же шлюзе. И вода в бутылках. Мыться негде. Он читал про тюрьмы — там есть душ. Тут — бункер для одного. Душ не предусмотрен. Инженеры решили — год можно и так. Может, они правы. За-

паху собственного тела он не чувствовал. Нос адаптировался. Или воздух так фильтруется.

Вентиляция зашумела. Чуть громче. Почти неуловимо, но он услышал. Тихий свист перешел в низкое гудение. Значит еда. Он подошел к заслонке и опустил на корточки. Металл был холодный. Отодвинул створку — внутри поднос. Пластиковый. Белый, разумеется. Еда: каша, похожая на овсянку, хлеб, масло арахисовое в пластиковом стаканчике, яблоко. И бутылка воды. Литр. Все простое. Калории посчитаны. Витамины добавлены. Он знал — меню будет повторяться. Без разнообразия. Чтоб не думать о еде. Чтоб еда стала просто топливом. Как бензин для машины. Ты же не думаешь, какой бензин залил в прошлый раз. Просто едешь. Он поел. Сидя на стуле. Медленно. Каша без соли и сахара. Хлеб жесткий. Масло арахисовое — единственное, что имело вкус. Яблоко кислое. Он ел и смотрел в стену. Стена была белая. Он подумал: интересно, сколько людей смотрит на эту стену прямо сейчас. Девять. Еще девять бункеров. Где-то рядом. Или далеко. Они не знают друг о друге. Они не видели друг друга. Только координаторы. Девять человек проходят через то же самое. Может, кто-то уже сказал «стоп». Может, кто-то плачет. Может, кто-то спит. Он не знал. И не узнает. После еды он снова сел на койку. Что теперь? Вспоминать дела. Дело «МакКормак против Стэнли». Две тысячи одиннадцатый год. Несчастный случай на стройке. Кран упал. Пострадавший потерял ногу. Он представлял истца. Выиграл.

Два миллиона. Хорошее дело. Он помнил лицо присяжного номер три. Женщина в очках. Она плакала, когда он описывал, как парень не сможет играть в футбол с сыном. Это был удачный ход. Он специально выбрал метафору с футболом, потому что у нее на сумке был значок местной команды. Он заметил его в первый день отбора. И выстроил речь вокруг этого. Не врал. Просто правильно расставлял акценты. В суде нет правды, есть убеждение.

Без ролей, сказал координатор. Кто ты без ролей? Грэм тогда ответил: я — это мои поступки. Мои решения. Мой ум.

Координатор записал что-то в планшет.

Теперь, сидя в белой комнате, Грэм подумал: ум без информации — что он будет делать? Просто крутить старые пластинки. Вспоминать выигранные дела. Прокручивать разговоры. Это как пережевывать жвачку без вкуса. На сколько хватит? На месяц? На два? А потом?

Он вспомнил, как однажды в колледже напился и потерял память на три часа. Утром ему рассказали, что он танцевал на столе и признавался в любви незнакомой девушке. Сам он ничего не помнил. Было страшно. Как будто эти три часа украли. Или он сам украл себя у себя.

Здесь будет наоборот. Не три часа, а год. И не украдут, а он сам откажется. Добровольно.

Он встал и снова прошелся по комнате. Надо придумать себе занятие. Прямо сейчас. Считать шаги? Считать до миллиона? Он начал считать. Раз, два, три, четыре. Сбился на

тридцати восьми. Мысли ушли в сторону. Лора готовит завтрак. Майкл собирает рюкзак. Он опаздывает. Лора кричит — Грэм, скажи ему! Грэм пьет кофе. Черный. Без сахара. Чашка синяя. Или зеленая? Не помнил. Синяя в горошек. Подарок на Рождество от секретарши.

Секретарша. Джуди. Джуди Пауэрс. Рыжая. Смешливая. Ей тридцать два. Она приносила ему кофе ровно в девять ноль три. Всегда с опозданием на три минуты. Он сначала злился, потом привык. Три минуты — это ее способ показывать, что она не автомат. Ее право на свободу. Он понял это года через два. Она уволилась, когда он стал партнером. Ушла в другую фирму. Он до сих пор помнил ее кофе. Лучше, чем у Лоры. Лора варила слишком крепкий. Или слишком слабый. Он уже не помнил.

Он помотал головой. Нельзя. Нельзя так. Надо структурировать. Надо создать ритуалы.

День первый. Гимнастика утром. Потом обход комнаты. Потом мысленный обзор дня. Вспомнить три хороших дела из практики. Потом стихи. Потом придумать план на будущее. После выхода. Мемуары. Точно, мемуары. Он напишет книгу. «Зал суда: мои ошибки и победы». Хорошее название. Или «Адвокат дьявола». Нет, банально. «Без права на ложь». Тоже банально. Но пойдет. Издатели любят пафос.

Он начал мысленно писать первую главу. «Я познакомился с законом в возрасте семи лет» Нет, не так. «Мой дед говорил: закон — это не то, что написано в книгах. Это то, что

происходит в головах двенадцати присяжных». Хорошо. И дальше про дело с кражей велосипеда. У него украли велик в десять лет. Он нашел воришку, пришел к нему домой с отцом. Отец был огромный, но говорил тихо. Воришка вернул велик. Без полиции. Без суда. Вот что значит правильный разговор. Грэм тогда понял силу слов. Силу убеждения. Не силу кулака — силу голоса. Тихий голос отца сделал больше, чем крик. Отец был бухгалтер? Или инженер? Инженер. Строил мосты. Хорошие мосты. Один до сих пор стоит в Питтсбурге. Или в Филадельфии? В Питтсбурге. Желтый мост. Он помнил его с детства. Они ездили смотреть. Отец стоял и смотрел на мост, а Грэм смотрел на отца. Отец был горд. Грэм хотел быть таким же гордым. Поэтому стал адвокатом. Не строить мосты — разрушать мосты противника в суде. Тоже искусство.

Он заметил, что говорит вслух. Слова звучали глухо. Белая комната не любила звуков. Она их съедала. Но ему было все равно. Говорить вслух — значит подтверждать свое существование. Я мыслю — значит я существую. Я говорю — значит я точно существую. Пока.

Он продолжил ходить и диктовать воображаемому редактору свои мемуары. Потом устал. Лег на койку. Свет не гас. Он накрыл глаза рукой, но свет проникал сквозь пальцы, красный, пульсирующий. Он попытался заснуть. Сон не шел. Мысли крутились. Майкл. Майк. Лора. Джуди. Кофе. Мост. Желтый. Присяжная в очках. Два миллиона. «Стоп». Слово

«стоп». Оно теперь казалось чужим. Будто не про него.

Он не знал, сколько прошло времени. Может, час. Может, три. Может, десять минут. Тишина была такой плотной, что он слышал биение сердца. И еще что-то. Высокий тонкий звон. Как комар. Но комаров тут не могло быть. Это нервная система шумит. Мозг ищет стимулы, а их нет. И он создает их сам. Звон в ушах — первый признак сенсорного голода. Он читал об этом. Когда готовился. Читал про сенсорную депривацию. Галлюцинации. Паранойя. Распад личности. Но думал — у меня сильная психика. Я справлюсь.

Звон усиливался. Он попытался перебить его стихами. «*Nel mezzo del cammin di nostra vita*» Язык заплетался. Он помнил только первые три строки. Дальше — провал. Он учил это двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет — четверть века. Вся жизнь между тогда и сейчас. Дети, жена, карьера, дом в пригороде, две машины, собака. Собака — золотистый ретривер, зовут Бак. Или Барни. Бак. В честь Джека Лондона. Он читал «Зов предков» в детстве. Собака старая, седая морда. Лежит на крыльце, ждет, когда он вернется. Ждет его, а он здесь.

Грэм сел. Пес Бак. Если он умрет здесь — пес не поймет. Будет лежать и ждать. Лора будет плакать. Майкл сначала поплачет, потом успокоится — у него своя жизнь. Друзья, девочки, школа. У детей горе легкое, как рябь на воде. Уходит быстро. А у Лоры останется осадок навсегда. Она сильная, но одинокая. Он был ей не очень хорошим мужем. Слишком

много работал. Слишком мало говорил. Она говорила — ты живешь в офисе, а домой приходишь как в гостиницу. Он отвечал — я работаю для вас. Это всегда срабатывало. Или ему казалось, что срабатывало. Может, она просто переставала ждать ответа.

Он снова лег. Надо спать. Сон — это маленькая смерть. Или маленькая жизнь. Во сне он будет не здесь. Во сне он увидит деревья, лица, небо. Во сне есть краски.

Он закрыл глаза и стал вспоминать небо. Небо над океаном в их свадебном путешествии. Гавайи. Синее. Или бирюзовое. Сложный цвет. Такого в бункере никогда не будет. Он попытался вызвать этот цвет перед глазами. Синий. Голубой. Темнеющий к вечеру, с оранжевой полосой заката. Облака, похожие на перья. Ветер. Запах соли.

Он почти почувствовал запах. Нос защипало.

А потом вентиляция снова зашумела.

И он понял — прошел день. Или ночь. Или сутки. Какая-то единица времени прошла. Он поел снова. Каша. Хлеб. Яблоко. Вода. Все то же. Цикл. После еды он сделал гимнастику. Потом сел на стул и устался в стену. На стене ничего не было. Она была идеально белая. Без единого пятнышка. Без трещины. Без неровности. Он смотрел на нее полчаса. Или час. И вдруг заметил, что по стене плывут тени. Их не было — но они были. Мозг дорисовывал. Пятна света расплывались, сжимались, превращались в узоры. Он моргнул — узоры исчезли. Закрыл глаза — под веками закружились

спирали. Желтые. Фиолетовые. Он испугался. Или не испугался. Просто зафиксировал: началось.

Он встал. Прошелся. Назвал свое имя вслух.

— Грэм Холден. Меня зовут Грэм Холден. Мне сорок пять лет. Я адвокат. У меня есть жена Лора. Сын Майкл. Собака Бак. Я нахожусь в эксперименте. Я выйду через год. Я помню, кто я.

Голос звучал спокойно. Он повторил это три раза. Потом еще раз. Потом запнулся на имени жены. Лора. Лора. Лора Энн. Девичья Стивенс. Майкл. Майкл Холден-младший. Двенадцать лет. Родился двадцать третьего марта. Две тысячи девятого. Рост — сто пятьдесят сантиметров. Вес — сорок пять килограмм. Любит пиццу с пепперони. Играет в бейсбол. Питчер. Номер четырнадцать. Или девятнадцать. Четырнадцать. У него родинка на левой щеке. Или на правой? На левой. Смеется в точности как мать. Заправляет волосы за ухо, когда нервничает.

Он говорил это и говорил. Как будто вдавливал в бетон. Но слова отскакивали. Белые стены не держали слов.

Он замолчал. Тишина обрушилась снова. И в тишине он услышал, как что-то скребется. В стене. Или в голове. Он не мог понять. Прижал ухо к стене. Холодная. Тихо. Отпустило. Показалось. Первый день. Или второй. Или все еще первый. Он не знал. Счет сбился. В следующий раз надо загибать пальцы. Десять пальцев — десять дней. Потом узелки на футболке. Или метки на стуле? Чем? Ногтями? Он попро-

бовал. Дерево твердое. Ноготь сломался еще больше. Кровь выступила. Красная. Единственный цвет в комнате. Он смотрел на каплю крови на пальце. Она была яркая. Живая. Он слизнул ее. Металлический вкус.

Вот. Кровь — это правда. Кровь не врет. Я кровоточу, значит я существую.

Он завернул палец в край футболки и лег на койку. Надо спать. Завтра будет день. Он будет считать. Он соберет мемуары. Он выдержит.

Где-то далеко, за бетоном, за сталью, за милями пустоты, другая камера. Другой доброволец. Может, женщина. Может, старик. Может, юноша. Они тоже смотрят в стену. Они тоже называют свои имена. И их стены тоже белые. И их кровь такая же красная. Но они не знают друг друга. И не узнают никогда.

Грэм закрыл глаза и провалился в сон без сновидений.

На следующий день — или в следующую единицу приема пищи — он обнаружил, что забыл загнуть палец. Он смотрел на свои руки и не мог вспомнить, сколько раз открывалась заслонка. Три? Четыре? Пять? Ладони были пусты. Только сломанный ноготь на большом пальце. Он засмеялся. Смех был короткий и тут же угас. Он понял, что время уже начинает расползаться.

И где-то внутри, очень глубоко, шевельнулся страх. Холодный и липкий. Как змея под камнем. Он затолкал его обратно.

— Я Грэм Холден, — сказал он стенам. — Я все еще здесь.
Стены промолчали. Они были белые. Они ждали.

Имена на стене

Он начал записывать дни.

Нечем было записывать. Не на чем. Но он придумал. В подносе с едой иногда лежал хлеб, который крошился. Крошки были сухие, твердые, почти как песок. Он собирал их на столе и выкладывал в ряд — одна крошка, один день. Получалась линия. Кривая, неровная, но линия. Он смотрел на нее и успокаивался.

Линия — это порядок. Порядок — это контроль. Контроль — это он.

Дней было семнадцать. Или восемнадцать. Он сбился в начале, но потом восстановил счет по приемам пищи. Еду приносили регулярно, он чувствовал. В теле появился ритм. Просыпался, делал гимнастику, ел, ходил, думал, снова ел, засыпал. Между этим — пустота. Белая, гудящая, бесконечная.

Он разговаривал вслух. Сначала просто комментировал свои действия. «Сейчас я встаю. Сейчас я иду к столу. Сейчас я буду есть». Потом начал спрашивать себя и отвечать. «Как ты, Грэм?» — «Нормально, Грэм. Держусь». Получалось почти как в суде. Прямой допрос самого себя. Только присяжных нет. И судьи нет. И подсудимого нет. Один свидетель. Он же обвинитель. Он же защитник.

— Мистер Холден, вы помните, зачем вы здесь?

— Да. Эксперимент. Очищение от социальных ролей.

— И как, очищаетесь?

— Пока не заметно. Пока я все еще адвокат. В голове крутятся дела, статьи, приемы.

— А семья?

— Семья тоже. Я думаю о них. Каждый день.

— Вы скучаете?

Пауза.

— Я не знаю. Я думаю о них, но скучаю ли? Скука — это когда хочется оказаться рядом. А я не уверен, что хочу оказаться рядом. Я хочу, чтобы они были в порядке. Это другое.

Он остановился. Собственный голос показался чужим. Как будто кто-то другой сидел в углу и задавал вопросы. Он посмотрел в угол. Там никого не было. Только белая стена. Но ощущение чужого присутствия осталось. Не страшное. Скорее как воспоминание о ком-то, кто только что вышел из комнаты. Остался запах? Нет. Осталась пустота особого рода. Пустота, которая помнит человека.

Он встал и прошелся.

— Лора, — сказал он громко. — Лора, ты меня слышишь?

Стены молчали.

— Майкл. Майки. Папа здесь. Папа скоро вернется.

Слова падали в тишину, как камни в колодец. Даже всплеска не было. Он попробовал представить их лица. Лора — русые волосы до плеч, серые глаза, тонкие губы, маленькая морщинка между бровей. Он видел это. Видел отчетли-

во. Но лицо не собиралось. Глаза были отдельно, губы отдельно, морщинка отдельно. Как детали конструктора, которые не хотят скрепляться. Он попытался сложить их силой. Лицо Лоры возникло на секунду — и распалось. Как отражение в воде, когда бросаешь камень.

Он испугался. Не сильно. Чуть-чуть. Как будто забыл что-то важное, что должно лежать в кармане, а карман пуст. Ключи? Бумажник? Телефон? Нет. Лицо жены. Лицо сына.

Он сел на койку и стал вспоминать по системе. Лора. Волосы. Русые. Или темно-русые? Она красилась? Да, красилась. Однажды перекрасилась в рыжий. Ему не понравилось. Он сказал — тебе не идет. Она обиделась. Он не понял, почему. Это же просто цвет волос. Но для нее это было важно. Она сказала — ты никогда не замечаешь, как я выгляжу. Он ответил — я замечаю, просто не говорю. Она сказала — это одно и то же. Теперь он думал: она была права? Или не права? Какая разница. Лицо. Надо собрать лицо.

Нос. У нее был прямой нос. Или курносый? Прямой. С маленькой горбинкой. Она стеснялась горбинки. Говорила, что в профиль похожа на ведьму. Он смеялся. Она дулась. Потом он говорил — ты красивая, и она таяла. Это был ритуал. Они повторяли его годами. Она жаловалась на нос, он говорил комплимент, она улыбалась. Предсказуемо. Как часы. Тик-так.

Он не мог вспомнить, как она улыбалась. Губы помнил, а улыбку нет. Уголки губ поднимались? Опускались? Глаза

щурились? Или оставались широко открытыми? Он закрыл глаза и попытался увидеть. Ничего. Темнота и редкие спирали под веками. Он открыл глаза. Белый потолок.

Прошло тридцать или сорок приемов пищи. Линия из крошек стала длинной. Он смахивал ее каждый раз, когда она доходила до края стола, и начинал заново. Это был его календарь. Крошки, которые он съедал после подсчета. Чтобы не оставлять следов. Чтобы никто не знал, что он считает. Почему никто не должен знать? Он сам не понимал. Просто казалось важным — скрывать. Как в детстве, когда прятал дневник от родителей. Здесь нет родителей. Здесь нет никого. Но он прятал.

Однажды он проснулся и не мог вспомнить слово «окно».

Он стоял посреди комнаты и знал, что в мире есть такая штука. Прямоугольник в стене. Через него смотрят. Там стекло. За стеклом — улица. Или двор. Или что-то еще. Но слово не приходило. Он перебирал в уме: дверь, пол, потолок, стена. А это? Прозрачное? Квадратное? Стеклопакет? Нет. Не то. Он начал злиться. Злость была горячая, живая. Хорошая злость. Лучше, чем пустота. Он ходил и повторял: стекло, стена, дыра, смотреть, видеть, свет. Свет. Окно. Да. Окно. Он выдохнул. Слово вернулось. Но вместе с ним вернулся и страх. Страх был больше, чем просто забытое слово. Страх был в том, что слова могут уйти. Все слова. И тогда что останется?

Он решил тренировать язык. Каждый день он называл

все предметы в комнате. Стол. Стул. Койка. Стена. Потолок. Пол. Поднос. Бутылка. Крошка. Палец. Рука. Нога. Волос. Зуб. Язык. Свет. Тень. Звук. Гул. Эхо. Я. Я. Я. Я — Грэм. Я — человек. Я — адвокат. Я — отец. Я — муж. Я — сын.

Потом он начал называть то, чего в комнате не было. Дерево. Трава. Небо. Облако. Дождь. Машина. Дом. Улица. Город. Река. Море. Птица. Собака. Собака Бак. Бак — золотистый ретривер. Он вспомнил, как Бак приносил мячик. Ронял у ног и смотрел. Ждал. Всегда ждал. Глаза у Бака были темные, влажные. Умные глаза. Умнее, чем у некоторых свидетелей.

Он засмеялся. Смех прозвучал глухо. Потом еще раз. Громче. Он смеялся над шуткой про свидетелей и собаку. Никто не смеялся вместе с ним. Он смеялся один. Потом замолчал. Стало тихо. Тишина была такой глубокой, что он слышал, как кровь течет в ушах. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Как прибой. Как раковина, которую дала ему мать в детстве. Слушай, сказала она, это море. Он слушал и верил. Теперь он знал — это не море. Это кровь. Море далеко. Мать далеко.

Он попробовал вспомнить мать. Мать звали Маргарет. Или Марджори. Маргарет. Да, Маргарет. Он звал ее Мэг. Она была высокая, худая, с длинными пальцами. Пианистка. Играла в церкви. По воскресеньям. Он сидел на скамье и слушал. Ему не нравилось в церкви, но нравилось, как она играет. Бах. Хоралы. Медленные, торжественные. Она сидела с прямой спиной и не смотрела в ноты. Помнила наизусть.

Он гордился ею. Однажды она забыла середину хорала. Руки зависли над клавишами. Пауза. В церкви стало тихо. Священник кашлянул. Мать покраснела, нашла ноты и доиграла. После службы она плакала в машине. Он сидел рядом и не знал, что сказать. Ему было двенадцать. Как сейчас Майклу. Или Майку. Майклу.

Грэм встал и подошел к стене. Провел пальцем. Шершавая. Пальцы помнили, как держать ручку. Как листать страницы. Как печатать на клавиатуре. Пальцы все помнили. Руки не забывают. Только голова забывает.

— Надо записывать, — сказал он вслух.

Чем? Хлебные крошки не годятся. Ногти сломаны. Кровь высыхает и становится коричневой, почти незаметной. Он подумал про уголь. В детстве рисовал углем на асфальте. Уголь брал из кострища. Но здесь нет кострища. Здесь вообще ничего нет. Он перебрал в уме содержимое подноса. Еда. Пластик. Вода. Однажды он попробовал разломать поднос — пластик гнулся, но не ломался. Однажды попробовал отколоть кусок от стула — дерево было твердое, как камень. Ничего острого. Ничего красящего.

Он сел и стал ждать еду. Вентиляция зашумела. Он достал поднос. Каша. Хлеб. Яблоко. Вода. И что-то новое. Маленький кусочек угля. Или чего-то похожего. Черный, матовый, размером с половину большого пальца. Он взял его в руку. Легкий. Пачкает пальцы. На подносе записка, напечатанная на белой бумаге: «Для записей. По протоколу 7». Протокол

7? Он не помнил такого. Может, он сам просил? Может, координатор что-то говорил? Не помнил. Но уголь был. И это было важно.

Он подошел к стене. Чистый белый лист. Холст. Он занес руку. Что написать? Имя. Свое имя. Чтобы не забыть. Он написал: ГРЭМ ХОЛДЕН. Буквы вышли кривые, уголь крошился. Но было видно. Черное на белом. Он отошел на шаг. Смотрел. Имя на стене. Как подпись под документом. Как приговор. Он тут.

Потом он написал ниже: ЛОРА. Еще ниже: МАЙКЛ. Потом подумал и добавил: МАЙК. И приписал в скобках: (одно и то же лицо). Уголь скрипел. Пыль сыпалась на пол, оставляя серые пятна. Он не обращал внимания. Он писал. БАК. МАРГАРЕТ. ДЖУДИ. МАРТИНЕС. КЛЕЙН. ОН. ОНА. Я. Стена покрывалась именами. Они лезли друг на друга, мелкие, крупные, печатные, прописные. Он писал и чувствовал, как в груди отпускает. Как будто все эти люди, которых он вытащил из памяти и поместил на стену, стали немного реальнее. И он сам стал реальнее, потому что они теперь здесь. Свидетели его существования. Когда уголь кончился, он сел на койку и смотрел на стену. Смотрел долго. Может, час. Может, два. Имена молчали. Но они были. Белая комната перестала быть пустой. В ней появилось прошлое. Прошлое висело на стене, как фотографии, которых нет.

На следующий день — или цикл — он проснулся и сразу посмотрел на стену. Имена были на месте. ГРЭМ ХОЛДЕН

— жирно, криво, с подтеками угольной пыли. Он кивнул. Хорошо. Все на месте.

Он сделал гимнастику. Присел. Отжался. Мышцы слушались хуже. Он стал слабее. Это было заметно. Каша не давала сил. Или он стал меньше есть. Иногда он оставлял половину. Просто не хотелось. Тело не требовало. Тело как будто сжималось, уходило в спячку. Как медведь зимой. Но медведь спит в берлоге, а он бодрствовал. Или не бодрствовал? Сны стали яркими. Иногда он не мог понять, спал он или думал. Сон и мысль сливались. Он видел Лору во сне. Она стояла на кухне и варила кофе. Синяя чашка в горошек. Или зеленая. Синяя. Она повернулась к нему и сказала: «Ты забыл покормить собаку». Он ответил: «Я не дома». Она сказала: «Ты никогда не был дома». Он проснулся. Или не проснулся. В комнате было светло. Всегда светло. Он лежал и думал: был ли это сон? Если да, то когда он кончился?

Он встал и подошел к стене. Провел пальцем по имени ЛОРА. Буквы были холодные. Стена была холодная. Имя было просто угольной пылью. Оно ничего не значило. Он подумал: а что, если Лора — тоже просто имя? Что, если вся его жизнь — просто имена на стене? Был ли он адвокатом? Или ему приснилось? Был ли у него сын? Он помнил, как учил Майкла ездить на велосипеде. Держал за сиденье, бежал рядом, отпустил. Майкл поехал. Обернулся — папа, я еду! И упал. Разбил коленку. Плакал. Грэм сказал — вставай, мужчины не плачут. Майкл встал. Грэм гордился. Или

стыдился? Сейчас ему было стыдно. Мужчины плачут. Еще как плачут. Просто никто не видит.

Он заплакал. Беззвучно. Слезы текли по щекам, капали на серую футболку. Он не вытирал их. Плакал и смотрел на стену с именами. Они расплывались. Или это глаза расплывались. Какая разница.

Через некоторое время — он не знал, через какое — слезы высохли. Он вытер лицо рукавом. Сел на стул. Посмотрел на свои руки. Руки стали тоньше. Кожа сухая. Вены выступили. Он повернул руки ладонями вверх. Линии жизни, судьбы, ума. Он когда-то читал по руке. В колледже, на вечеринке. Девушкам нравилось. Он говорил — у тебя длинная линия ума, ты проживешь интересную жизнь. Они смеялись. Он не верил в хиромантию. Но теперь смотрел на линии и думал: это дороги. Они куда-то ведут. Но куда? В никуда. В белую комнату. В стену с именами.

Однажды он проснулся и не узнал имя на стене.

Он смотрел на него минут пять. Буквы были его. Почерк его. Но имя не говорило ничего. КЛЕЙН. Кто такой Клейн? Он начал перебирать. Клиент? Сосед? Друг детства? Фирма. «Клейн энд Холден». Он — Холден. А Клейн — партнер. Альберт Клейн. Маленький, лысый, с вечно потными ладонями. Хороший юрист. Плохой человек. Они не любили друг друга. Но держались вместе из-за денег. Из-за клиентуры. Из-за репутации. Клейн занимался налогами. Грэм — уголовным правом. Они почти не пересекались. Клейн завидо-

вал его успехам в суде. Грэм презирал Клейна за трусость. Они пожимали руки каждый день. «Доброе утро, Альберт». «Доброе утро, Грэм». И расходились по кабинетам. Теперь Клейн был просто именем на стене. И Грэм не сразу его узнал. А если он забудет Клейна — что дальше? Он забудет Лору? Майкла? Себя?

Он схватил остатки угля, которые нашел в углу — оказывается, они не кончились, просто он думал, что кончились — и начал писать снова. Он писал мелко, убористо. Даты. Факты. Номера дел. Имена присяжных. Адреса. Улица Вязов, 14. Их первый дом. Спальня на втором этаже, окна на восток. По утрам солнце било в глаза. Лора вешала плотные шторы. Он их снимал. Ему нравилось просыпаться от света. Ей — нет. Они ссорились из-за штор. Из-за штор! Теперь это казалось смешным. Но тогда это была война. Холодная война штор. Он вспомнил, как однажды психанул и сорвал их совсем. Лора не разговаривала с ним три дня. Три дня тишины в доме. Он тогда наслаждался тишиной. Теперь тишина была везде, и он ее ненавидел.

Он писал про шторы. Про дом. Про номера машин. Про номер страховки. Про счет в банке. Цифры давались легко. Цифры — это не лица. Цифры не улыбаются. Цифры не плачут.

Стена стала серой от угля. Он исписал все свободное пространство. Буквы громоздились друг на друга, перечеркивали, спорили. Это был не дневник. Это был крик. Беззвучный

крик на белой стене. Он писал и шептал:

— Я здесь. Это было. Это все было. Я не придумал. Я был. Я есть.

Он писал, пока не заболела рука. Потом упал на койку и заснул. Во сне он был в суде. Зал был полон. Он сидел за столом защиты, но не знал, кого защищает. Судья стучал молотком. «Встаньте, мистер Холден». Он встал. «Ваше имя?» Он открыл рот и не смог ответить. Имени не было. Он смотрел на свои руки, но рук не было. Он смотрел в зал, но лиц не было. Только белые пятна. «Ваше имя!» — гремел судья. А он молчал. Потому что имени не было. И его самого не было. Был только стул за столом защиты. Пустой стул. И белый шум.

Он проснулся в поту. Футболка прилипла к спине. Сердце колотилось. Он сел. Стена с именами была на месте. Он подошел и дотронулся до имени ГРЭМ. Буквы были влажными? Нет, показалось. Сухие. Он стер их ладонью. Имя исчезло. Осталось серое пятно. Он стер еще раз. И еще. Ладонь стала черной.

Он смотрел на пустое место, где только что был он. — Меня нет, — сказал он вслух.

И замер.

Слова повисли в воздухе. Он ожидал страха. Но страха не было. Было что-то другое. Облегчение? Как будто он снял тяжелое пальто, которое носил всю жизнь. Пальто было красивое, дорогое, с биркой известного портного. Но оно дави-

ло на плечи. А теперь он снял его. И стало легко.

Он снова написал: ГРЭМ. И стер. Написал и стер. Это была игра. Он был и его не было. Он появлялся и исчезал по своему желанию. Это пьянило. Это пугало. Он смеялся и стирал, стирал и смеялся. Угольная пыль летела в лицо, он вдыхал ее и кашлял. Кашель был громкий, лающий. Как пес Бак на чужаков. Бак. Он стер БАК. Написал БАРНИ. Подумал. Нет, Бак. Точно Бак. Или Барни. Теперь уже не важно. Собаки нет. Собака — имя на стене. И он — имя на стене. И все — имена на стене.

Он внезапно успокоился. Сел на пол. Скрестил ноги. Он не сидел так с детства. По-турецки. Смешно. Турция. Он никогда не был в Турции. Лора хотела. Он обещал. Не срослось. Теперь уже не сойдется. Какая разница.

Он сидел и смотрел в стену. Стена была серая, с разводами. Он мог часами смотреть и видеть в разводах лица. Вот профиль Лоры. Вот ухо Майкла. Вот рука отца. Вот хвост Бака. Они были там, в стене. Проступали, как фотографии в проявителе. Он не звал их. Они сами приходили. И сами уходили.

Вентиляция зашумела. Еда. Он подошел к шлюзу. На подносе лежала каша, хлеб, яблоко и новый кусочек угля. Маленький. Аккуратный. И записка: «Для записей. По протоколу 7». Или это было раньше? Он не помнил. Может, это было вчера. Может, неделю назад. Он взял уголь и повертел в руках. Потом положил обратно на поднос. Ему не хотелось

писать. Ему вообще ничего не хотелось.

Он съел половину каши. Хлеб не тронул. Яблоко понюхал и отложил. Запах был резкий, химический. Или это нос испортился. В бункере все запахи исчезали, кроме запаха собственного тела. Сладковатый, кислый. Так пахнет старость, подумал он. Хотя он не знал, как пахнет старость. Мать пахла лавандой. Отец — табаком. Лора — каким-то кремом. Он не помнил названия. Желтая баночка. Она мазала руки перед сном. Говорила — кожа сохнет. Она боялась стареть. Он говорил — ты не стареешь. Она не верила. Правильно делала. Он врал.

Он лег на койку. Потолок был белый. Все такой же белый. Ни пятнышка. Только в углу появилась трещина. Или была всегда. Он не помнил. Он смотрел на трещину и думал: когда она появилась? Может, она растет. Может, это не трещина, а вена. Вена на потолке. И по ней течет белая кровь. Или серая. Как угольная пыль.

Ему стало смешно. Белая кровь. Как у аристократов. Голубая кровь. Белая кровь. Он — аристократ пустоты. Герцог Никто. Князь Нигде.

Он закрыл глаза. Под веками плыли пятна. Они складывались в фигуры. Вот дерево. Вот дом. Вот человек. Человек шел по дороге. Человек был без лица. Он шел и шел, а дорога не кончалась. Грэм смотрел на него изнутри своей головы и думал: это я. Я иду. Куда?

Ответа не было.

Он открыл глаза. Трещина на потолке стала длиннее. На полсантиметра. Или ему казалось. Он протянул руку, но потолок был далеко. Рука повисла в воздухе. Пальцы шевелились. Он смотрел на пальцы, как на чужие. Они сгибались, разгибались. Он приказывал им — и они слушались. Но связь была уже не такая прямая. Как будто сигнал шел через помехи. Приказ — пауза — действие. Пауза росла.

Он сел. Надо было что-то делать. Он решил снова назвать все имена на стене. Читать их, как молитву. Как список живых и мертвых.

— Грэм Холден.

— Лора Холден.

— Майкл Холден.

— Бак.

— Маргарет.

— Альберт Клейн.

— Джуди Пауэрс.

— Мартинес.

Он остановился. Мартинес — это кто? Судья? Да, судья. Толстый, старый, играл в теннис. Грэм ему поддавался. Или выигрывал? Он не помнил. Может, Мартинес — это не судья. Может, это сосед. Или врач. Или актер из сериала. Или он сам придумал Мартинеса. Или Мартинес приснился.

Он потер виски. Надо сосредоточиться. Судья Мартинес. Окружной суд. Дела о мошенничестве. Он вел у него три процесса. Один выиграл, два проиграл. Мартинес его не лю-

бил. Грэм тоже его не любил. Но зачем он написал его на стене? Зачем помнить человека, которого не любил? Потому что он — часть жизни. Часть мозаики. Если выкинуть Мартинеса, картина рассыплется. Или нет? Может, картина уже рассыпалась, а он держит в руках пустую рамку.

Он встал и зачеркнул МАРТИНЕС. Жирно, крест-накрест. Потом зачеркнул ДЖУДИ. Потом АЛЬБЕРТ КЛЕЙН. Чем меньше имен, тем легче дышать. Он зачеркивал и зачеркивал. Осталось три: ГРЭМ. ЛОРА. МАЙКЛ. Он посмотрел на них. Три столпа. Три причины быть.

ЛОРА.

МАЙКЛ.

ГРЭМ.

Он просидел перед ними целую вечность. Или два часа. Кто знает.

Потом ему показалось, что стена дышит.

Он моргнул. Стена была неподвижна. Он снова посмотрел. Легкое движение, как рябь на воде. Он коснулся стены рукой. Твердая. Холодная. Но внутри что-то пульсировало. Как сердце. Или это его пульс отдавал в пальцы.

— Кто здесь? — спросил он. Тишина. Гул вентиляции. Кровь в ушах.

— Я знаю, что ты здесь, — сказал он.

Он не знал, к кому обращается. К стене. К себе. К кому-то третьему. Кому-то, кто уже зарождался в белой пустоте. У него не было имени. У него не было лица. Но он был. Грэм

чувствовал его присутствие. Как чувствуют взгляд в спину. Как чувствуют чужое настроение в комнате, даже если никого нет.

Он сел на пол и стал ждать. Ждать, что этот кто-то заговорит. Или выйдет из стены. Или родится в его голове.

Он не знал, сколько прошло времени. Но в какой-то момент вентиляция зашумела снова. Еда. Он не пошел к шлюзу. Он сидел и смотрел на стену. Имена ЛОРА и МАЙКЛ расплывались перед глазами. Он забыл, что они значат. Буквы были просто буквами. Черные кривые на сером фоне. Он мог прочитать их, но не мог понять. Как иностранный язык, который когда-то знал, но забыл.

— Лора, — сказал он вслух. Звук был пустой.

— Майкл, — сказал он. Еще более пустой.

— Грэм, — сказал он.

И вздрогнул. Потому что в тишине ему почудился ответ. Не слово. Даже не звук. Скорее, эхо до звука. Как будто тишина на мгновение изменила тон. Как будто кто-то выдохнул.

Он замер. Сердце стучало. Он ждал. Больше ничего.

Но с этого дня он знал — он больше не один. В белой комнате кто-то поселился. Пока безымянный. Пока молчаливый. Но он был здесь. И Грэм ждал, когда они встретятся.

Голос

Он не помнил, когда впервые услышал голос.

Может, на шестидесятый день. Может, на семидесятый. Крошки на столе давно смешались в серую пыль. Он перестал их считать. Счет потерял смысл, потому что дни перестали быть днями. Они были просто промежутками между сном и едой. Или между едой и сном. Или между одним взглядом в стену и другим.

Стена больше не была стеной. Она стала экраном. Или зеркалом без отражения. Или окном в никуда. Он смотрел в нее часами и видел движение. Тени, которых не было. Лица, которые не приходили. Иногда проступали буквы — старые, стертые, полузабытые. Он читал их, как читают надписи на могилах. Незнакомые имена. Чужие даты. Свои мысли.

Голос пришел не из стены. Он пришел изнутри. Но Грэм этого сначала не понял. Ему показалось, что кто-то говорит в углу. Там, где тень была чуть гуще. Или в вентиляции. Или в шлюзе, откуда приходит еда.

— Ты не спишь, — сказал голос.

Грэм лежал на койке. Он не спал уже долго. Или только что проснулся. Он не различал эти состояния. Сон стал продолжением бодрствования, бодрствование — сном. Оба были белыми. Оба были тихими. В обоих он был один.

Теперь не один.

— Кто здесь? — спросил Грэм. Губы еле шевелились. Он отвык говорить. Язык стал тяжелым, как чужой.

— Я здесь, — сказал голос. Он был спокойный. Ровный. Без эмоций. Как диктор новостей. Или как врач, который общает диагноз.

Грэм сел. Комната была пуста. Он посмотрел в угол — никого. Посмотрел на вентиляцию — решетка на месте. Шлюз закрыт. Стул на месте. Стол на месте. Имена на стене — стертые, грязные, но на месте.

— Где? — спросил он.

— Везде, — сказал голос. — И нигде. Как и ты.

Грэм потер лицо руками. Щетина была длинная, мягкая. Она росла, а он не замечал. Волосы на голове тоже росли. Он чувствовал их на шее. Когда-то он стригся каждые две недели. У него был парикмахер, которого он помнил по имени. Потом забыл. Теперь волосы были просто волосами. Как шерсть у животного. Животное не помнит парикмахера.

— Я сплю? — спросил он.

— Может быть, — сказал голос. — Какая разница? Грэм подумал. Разницы действительно не было. Если это сон, то он все равно здесь. Если это явь — тоже. Комната не исчезала. Свет не гас. Голос не уходил.

— Ты галлюцинация, — сказал Грэм.

— Возможно, — согласился голос. — А ты?

Грэм не нашелся что ответить. Он смотрел в стену напротив и пытался понять, откуда идет звук. Звук не имел на-

правления. Он был сразу везде. Как свет. Как тишина. Как мысли, которые приходят, не спрашивая.

— У тебя нет имени, — сказал Грэм.

— У тебя тоже скоро не будет.

Грэм почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не страх. Скорее предчувствие страха. Как когда смотришь на край крыши и понимаешь, что можешь шагнуть. Не хочешь. Но можешь. И эта возможность тебя держит крепче, чем перила.

Он встал и прошелся. Ноги были ватные. Мышцы слабели. Гимнастику он забросил. Сначала пропустил день. Потом еще один. Потом перестал помнить, делал он ее или нет. Тело стало легким. Или это воздух стал плотнее. Он не понимал.

— Кто ты? — спросил он, останавливаясь.

— Я тот, кто останется, когда ты уйдешь.

— Я не ухожу. Я здесь на год.

— Год, — повторил голос. В нем послышалась усмешка. Или Грэму показалось. — Что такое год? Ты можешь измерить год? У тебя есть часы? Календарь? Солнце? Где твой год?

Грэм молчал. Год растворился. Он не знал, сколько прошло. Может, месяц. Может, три. Может, полгода. Время текло нелинейно. Иногда одна мысль длилась вечность. Иногда вечность пролетала как одна мысль. Он пытался считать удары сердца. Сбивался. Пытался считать вдохи. Засыпал. Время стало водой. Он плыл в ней и не видел берегов.

— Ты меня пугаешь, — сказал Грэм.

— Нет. Ты сам себя пугаешь. Я — это ты. Просто ты еще не готов это признать.

Грэм сел на стул. Стул был жесткий. Это было хорошо. Жесткость — это реальность. Или доказательство реальности. Или привычка так думать. Он уже не доверял ощущениям. Слишком часто стена становилась океаном, а гул вентиляции — музыкой. Слишком часто он слышал шаги, которых не было, и видел свет, который не гас.

— Докажи, — сказал он.

— Что?

— Что ты — это я.

Голос помолчал. Тишина стала гуще. Потом он заговорил. И то, что он сказал, заставило Грэма замереть.

— Тебе сорок пять лет. Ты адвокат. Ты выиграл двести сорок дел. Ты женат на Лоре. У тебя сын Майкл. Или Майк. Ты сам путаешь. У тебя собака Бак. Или Барни. Ты и это путаешь. Ты любил отца, но боялся его. Ты любил мать, но жалел ее. Ты стал адвокатом, чтобы доказать отцу, что ты сильный. Ты женился на Лоре, потому что она была не такая, как твоя мать. Ты хотел быть другим. Ты старался. Но в глубине ты всегда знал, что ты — это не твои дела. Не твои деньги. Не твоя семья. Ты — это пустота, которая притворяется человеком.

Грэм слушал. Каждое слово било как молоток. Не потому что было новым. А потому что было старым. Очень старым.

Тем, что он всегда знал, но никогда не говорил. Даже себе. Особенно себе.

— Ты не я, — сказал он глухо. — Ты просто читаешь мои мысли.

— А чьи еще мысли я могу читать? — спросил голос. — Мы в бункере. Здесь нет никого, кроме тебя.

— Тогда заткнись.

Голос замолчал. Но не ушел. Грэм чувствовал его присутствие. Как чувствуют человека в темной комнате. Не видят, не слышат, но знают — он там. Дышит. Ждет.

Грэм лег на койку и закрыл глаза. Он попытался думать о чем-то другом. О еде. О каше, которая скоро появится. О хлебе. О яблоке. Яблоко было кислое. Он помнил кислый вкус. Или не помнил. Вкусы стирались. Еда стала текстурой. Каша — теплая слизь. Хлеб — сухая губка. Яблоко — холодный хруст. Вкуса не было. Только температура и плотность. Как будто язык умер. Или мозг отключил эту опцию за ненадобностью.

Он попытался вспомнить вкус стейка. Стейк рибай, средней прожарки, с кровью. Он заказывал такой в «Клубе». По четвергам. После тенниса. Один. Или с клиентом. Или с Мартинесом. Стейк был соленый, с дымком, с маслом. Он резал его и смотрел, как сок течет по тарелке. Красный сок. Как кровь. Он любил этот момент. Теперь это воспоминание было пустым. Как картинка в журнале. Красиво, но не съедобно.

Вкус исчез. Запах исчез. Цвета исчезли. Осталось только белое. И серое. И черные разводы угля на стене.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.